

## Аня

— Вот ты мне объясни, ради бога — для чего все это? Что, нормальной работы нельзя было найти с ее красным дипломом?

— Рит, давай не будем сейчас, а?

— Я что, поговорить с дочерью даже не могу? Мы тут ее кормим, а она опять со своими закидонами! Сколько предложений уже пропустила! А нервов мне сколько извела! Как будто мало нам было одного ее Майдана!..

— Ритуль, ну давай мы ее еще немного потерпим и покорим, а? Смотри, она совсем худюющая стала... — Папа деликатно загораживает меня спиной, переводя стрелки с наболевшего на актуальное сейчас.

Но от ма буквально летят искры, и сбить ее с намеченной цели так же невозможно, как загнать в безопасный тупик тяжелый, разогнавшийся с горки товарняк, у которого отказали тормоза. Крушение будет неминуемым и страшным.

Я, на свою беду, как раз ем. В меню домашнего благотворительного ужина сегодня макароны с котлетой, политые соусом, и салат. Еда, уютно сервированная и невинно дожидаящаяся меня на столе, разумеется, была лишь вкусно пахнущей приманкой в капкане. И вот теперь я давлюсь всем этим наспех, по-птичьи заглатывая огромные куски, чтобы побыстрее закончить с приемом пищи и удрать к себе.

— Да мне-то что! Одну дармоедку кое-как прокормить смогу! Пусть хоть до конца жизни сидит на нашей шее! Пока мозоли не натрет! Неблагодарная!

Неблагодарная — это, разумеется, я, продолжающая молча жевать, не отрывая глаз от тарелки. Все, наверное, очень вкусно, как всегда — мама умеет готовить. Но сейчас я просто механически кладу пищу в рот, делаю несколько судорожных жевательных движений и глотаю. Я не чувствую вкуса. И даже не потому, что мне стыдно или от огромной, просто переполняющей меня усталости, а потому, что все еще ощущаю тот страшный, болезненный запах, которым насквозь пропитано отделение. Весь этаж. Госпиталь. Мне кажется, что этим запахом наполнен не только он, но и весь город, — хотя я знаю, что это не так. В городе исход лета. Цветут на клумбах петунии, источая пряный аромат августа, но для меня даже они изливают запах хлорамина, присохших кровавых бинтов и разлагающейся плоти. Страшный запах войны.

Ма, в этот раз так и не сумев пробить мою глухую оборону, покидает кухню, напоследок выразительно хлопнув дверью. Папа вздыхает и зажигает под чайником газ.

— Ну что, Мурзик, — чай, кофе?

Уйти к себе и упасть лицом в подушку хочется настолько, что я игнорирую заманчивое предложение, равно как и свое милое детское прозвище, и наливаю кружку воды прямо из-под крана. Там же, у мойки, водой, пахнувшей все тем же хлорамином, я поспешно заливаю макароны и прочее.

Я не поворачиваюсь, потому что снова боюсь увидеть свою родительницу, готовую выплеснуть очередную порцию наболевшего — того, что она думает о моем поведении. А я... Я понимаю, что, наверное, где-то была неправа, где-то перегнула, а местами даже не оправдала, но... Сегодня я отчаянно не желаю продолжать этот разговор, потому что о госпитале, красном дипломе и моей более чем странной позиции можно, оказывается, рассуждать бесконечно. Слава богу, хотя бы не каждый день или каждый вечер — а только когда я своим нелогичным поведением совсем достану мамулю. Но... я не могу измениться, и она — тоже. Менять поведение и привычки сложнее, чем кажется. Тем более когда твоя всю жизнь послушная доченька начинает выкидывать такие коленца. Поэтому я ее понимаю. И знаю, что долго она не выдержит. Она снова поведет атаку — может быть, не напрямую, как сейчас, а пользуясь иными словами и методами,

метрия не в лоб, но все равно при этом попадая туда, куда целила, — так, чтобы я непременно почувствовала себя взрослой неблагодарной скотиной, несправедно сожравшей ужин, в который не вложила ни копейки. Спагетти, котлета и грибная подлива лежат у меня в желудке тяжелым камнем — может быть, это и не еда была вовсе, а моя совесть, к которой родители не первый месяц тщетно взывают?

Я давлюсь водой, и... неожиданно папа меня обнимает. Это случается так внезапно, что я с грохотом роняю кружку, порывисто поворачиваюсь — и тоже обнимаю его. Оказывается, я могу сколько угодно выносить попреки, но родительской любви я не выдерживаю. Слезы мгновенно заливают лицо — наверное, они брызжут так, как у клоуна в цирке, — потому что я очень долго, просто вечность их сдерживала. И теперь они прорвались и текут, размывая во мне какие-то мной же введенные плотины.

Оказывается, это так приятно — плакать, когда тебя обнимают... Я утыкаюсь лицом прямо в папину футболку, которая — слава богу! — пахнет не больничным коридором, а таким родным, что влага из моих глаз, льющаяся неиссякаемым потоком, тут же промачивает ее насквозь. Папа молча гладит меня по голове, совсем как маленькую, а затем осторожно усаживает на мое излюбленное место печалей — в тесный закуток за пеналом. Я уже плохо помещаюсь здесь, но все равно еще втискиваюсь — потому что от природы я ужасно худая. Тонкая-звонкая, как говорит па. Еще всхлипывая, я опираюсь спиной о холодную кафельную стену, подтягиваю колени и охватываю их руками, стараясь не соскользнуть со старого квадратного пуфа с облезлым, потрескавшимся, но все еще мягким дерматиновым сиденьем — хотя, собственно говоря, падать здесь, в этой узкой щели, совершенно некуда.

— И что ж ты воду-то сырую хлещешь? Мы вот сейчас чайку с лимончиком...

Пить чай в пространстве, куда и кошка поместилась бы с трудом, да еще и в позе эмбриона невозможно, поэтому я вытягиваю ноги — как раз до середины кухни — и принимаю чашку, исходящую паром.

— Анют, а хочешь, я у себя в отделении поговорю?

Я опускаю глаза. Протестовать и объяснять — почему я делаю то, что делаю, и как долго это со мной будет происходить — сегодня у меня уже нет сил. Хуже всего то, что я не упряма и никогда такой не была. Просто... просто так получилось. И все. Я сама не знаю, как это растолковать.

— Нет, в общем и целом я тебя как раз понимаю... Не обижайся, знаешь, это у меня уже по инерции вырвалось. — Папа с покаянным видом пожимает плечами. — Печеньку хочешь?

В этот раз плечами пожимаю я. Чашка клонится, и чай проливается на джинсы. Он еще горячий, поэтому я дергаюсь и обливаюсь еще больше. Орать нельзя — иначе на кухню сразу же ворвется утихомирившаяся ма и начнется снова-здорово: что жить так дальше нельзя и все прочее — короче, типа того, что нужно бросить глупости и найти настоящую работу. Что они меня растили-кормили-одевали. Что когда у меня будут свои дети, я ее наконец пойму... Во избежание всего вышперечисленного я только утробно сиплю, выпучив глаза. Па с ловкостью детского врача с тридцатилетним стажем, привыкшего переворачивать младенцев с животика на спинку, даже не разбудив, вынимает чашку из моих покрасневших пальцев, одновременно промокая полотенцем все, что в этом нуждается: мои застиранные штаны, руки и лицо — мокрое не от чая, а все еще от слез.

Печеньки вкусные, мои любимые и куплены явно для меня той самой ма, которая так бушевала в кухне десять минут назад. В госпитале я до сих пор ничего не ем, поэтому вечером, несмотря ни на что, аппетит у меня зверский.

Организм желает восполнить потерянные калории, совершенно не считаясь с тем, что личность внутри него протестует: личности не до еды, не до парка с петуниями, не до книг, подруг, свиданий... хотя Макс сегодня снова звонил не меньше пяти раз.

На второй печеньке я, кажется, засыпаю, потому что в следующий проблеск сознания обнаруживаю себя уже в кровати, без джинсов и футболки. «Оказывается, мой родитель ловок не только с младенцами», — успеваю подумать я и мгновенно про-

валиваюсь в черноту — без прелюдий и, слава богу, в этот раз без сновидений.

Утро. Я привычно переодеваюсь в больничную робу, открываю кладовку и вытаскиваю оттуда «свои» ведро и тряпку. Надеваю перчатки и, соблюдая заведенный порядок, начинаю с дальнего конца коридора. Говорят, физическая работа не оставляет места для размышлений. Какой дурак это придумал? Наоборот, когда руки заняты, голова начинает работать в особо продуктивном режиме.

Я остервенело шваркаю тяжелой, налитой грязной водой тряпкой по полу, затем сдвигаю скамейки — на них всегда сидят люди, с глазами, полными боли, — и ложу шваброй вдоль стен. Мне легче, чем им — этим покорно стоящим и ждущим, пока я делаю свое дело, потому что здесь, за наглухо закрытой дверью реанимации, помещаются те, кто им дороги. А я... я просто мою пол и молюсь. Чтобы сегодня там, за этой дверью, никого не прибавилось.

Я не знаю, есть ли во Вселенной тот, кого верующие называют Богом. Вполне возможно, что он, этот всемогущий разум, создавший ради собственного развлечения из конструктора имени периодической системы Менделеева все на свете, включая гангрену, столбняк и прочие радости, существует. Но очень глупо надеяться на то, что он исполняет просьбы и желания, потому что это — вообще не его работа. Для нас он сделал максимум возможного: очистил планету от динозавров, которых, наверное, сотворил исключительно затем, чтобы они сожрали заполонившие все пространство гигантские хвощи и удобрили Землю под будущие леса и пажити. А затем Бог опрометчиво заселил планету нами. Неблагодарными. Которые тут же пожелали петуний соседа своего и начхали на мирное сосуществование друг с другом. Мы, несомненно, куда хуже динозавров, убивавших исключительно пропитания ради. Мы загадили свой мир той самой таблицей Менделеева, с которой так и не смогли разобраться культурно. Заполонили океаны мусором и вырубали леса. Мы непоследовательно истребляем животных, а затем так же непоследовательно пытаемся их восстановить. Из остатков других животных, которых случайно недо-